

З

има начала восьмидесятых. Мы сидим в беляевской квартире, на теплой кухне и степенно ужинаем под сухое вино. Елена Ивановна, жена Вити, умчалась на научную конференцию. Малолетний сын их Даня, человек удивительно покладистый для своего возраста, читает книжку в детской. Мы с Беляевым — один на один. И еще с Великой Правдой Искусства. На сегодня она состоит в том, что Витя, не без доли классической фамильной дипломатичности, убеждает меня поставить моноспектакль по пьесе В. Славкина «Мороз», главную роль в котором горит желанием сыграть.

Пьесу я прочитал. Витя раздобыл где-то чуть ли не авторскую рукопись. Когда он возгорался, он мог отвинтить звезду с небес. В «Морозе» речь идет о человеке, закупорившем себя в своей квартире и общающемся с внешним миром только по телефону. И то неизвестно — работает ли этот телефон или герой говорит по нему с самим собой, любимым? Мне пьеса не то чтобы не понравилась, но показалась, в отличие от других славкинских пьес, какой-то искусственно мрачной, безысходной. В наших ТМовских вещах мы предпочитали светлый смеховой катарсис. И не случайно: в мироощущении мы все были стихийными оптимистами и интуитивно избегали «черного юмора». А тут — все изящно, холодно, темно...

Вот уже битый час держит свои обольстительные речи мой товарищ по актерскому искусству, склоняя меня в пользу постановки «Мороза». Я вздыхаю, ерзаю на табуретке и не решаюсь сказать, почему «Мороз» меня не греет.

— Витя, ну чем тебе эта пьеса понравилась? — тяну я время.

— Не могу объяснить! — говорит Витя, как всегда, на полулукавом глазу. — Не актерское это дело объяснять, почему пьеса понравилась, почему не понравилась. Я — актер! Я не могу сидеть без дела, понимаешь? Это же простой дорогостоящего оборудования!

* * *

...Витя замечательный индивидуалист! Ну кто еще, кроме него, мог, вопреки известному постулату К.С. Станиславского, так самозабвенно любить искусство в себе и себя в искусстве? Это жило в нем столь органично, столь талантливо, что кому-либо другому в кругах студийцев-«шестидесятников», склонных к общности в осмыслении любых вопросов — от выбора пьесы для репертуара до обсуждения кандидатур для переноски нехитрых декораций и костюмов из одного учебного корпуса университета в другой, — такой эгоцентризм не сошел бы с рук. Но не для Виктора. Он тяготился рутинной работой, хотя от нее и не бегал. Но главным образом он терпеть не мог наших филологических рефлексий по любому пустяку, пустых, по его мнению, разговоров вокруг мнимых проблем. И особенно он не любил нападавшие время от времени на Театр миниатюр «эпидемии застоя». Случались эти эпидемии по разным причинам. Студийность, как дитя, не защищена от разных нравственно-моральных болячек. Внешних и внутренних. И когда такие болезни навещали коллектив, и многие впадали от них в ступор, в оцепенение, Виктор действовал.

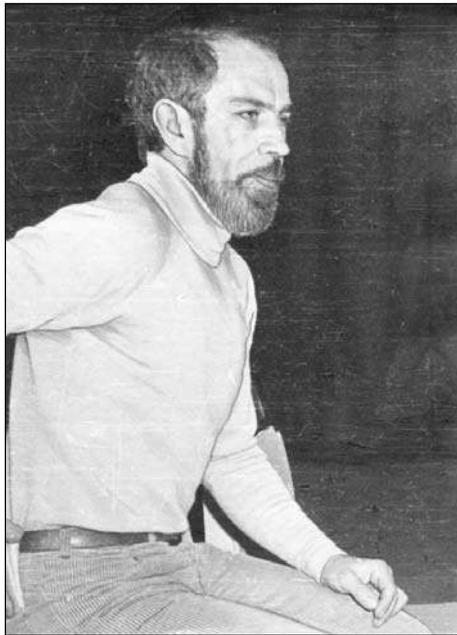
Вынудило начальство ВГУ уйти Кройчика из ТМ, сделало все, чтобы его не смог заменить Сисикин?! Меняем место дислокации до лучших времен, но не расходимся! Как убедили почтенного и уважаемого ректора ВТИ тех лет Б.И. Кущева принять опальные «миниатюры» под свое крыло Виктор и его товарищ Лев Дмитриев, я до сей поры об этом не знаю. Но целый год ТМ так работал под технологической крышей, что выпустил две премьеры! Чего раньше и близко не было...

* * *

...А Витя все очаровывает меня идеей постановки «Мороза». Я никак не очаровываюсь и наконец честно признаюсь ему в этом. Тот вдохновляется уникально! Ибо преодоление дополнительных Трудностей разного сорта — дополнительное удовольствие для его еще и спортивного характера. Долго ли, коротко ли, но в каком-то часу ночи я прекращаю сопротивление и сдаюсь под атакующей аргументацией «замечательного индивидуалиста».

...Не был он баловнем великолепных стечений обстоятельств. Он сам был громадной тягловой силой своей судьбы.

Пусть наша совместная работа над «Морозом» — лишь частное подтверждение моим соображениям, но нужно было видеть, как «трудил» Беляев себя на репетициях. Особенно на первых порах. То ли поначалу Витя испытывал предельный внутренний зажим, ощутив ответственность за то, что он практически в одиночку должен будет в течение длительного сценического времени держать внимание зрителей, не упуская его ни на секунду, то ли я бестолково объяснял ему свое «видение», свое «чувствование» и т.п., но больше месяца наша работа ни шла, ни ехала. Иногда вдруг на Виктора налетал комариный рой черточек и деталей уже сыгранных им персонажей. Витя сам ощущал это и буквально требовал от меня, что-



Ведущий актер Театра миниатюр ВГУ
Виктор Беляев

доставал-раздобывал сам Виктор. Сам вместе с Шурой Чопоровым и Петей Новиковым их монтировал. Но дело, наверное, не в пропавших декорациях. Могли бы мы с его характером выкрутиться из положения и возобновить спектакль. Но не возобновили. Наши дороги, ведущие на репетиции Театра миниатюр и Театра песни, постоянно пересекались. Мы при встречах дружески говорили с ним обо всем на свете, но только не о «Морозе». Что случилось тогда в душе Виктора по отношению к той идее, которую он так хотел воплотить на сцене? Зачем были нужны эти изнуряющие репетиции? Может, влезая в облик своего до крика одинокого персонажа, Витя по-человечески почувствовал край бездны, и он его оттолкнул? А может, я нынче за него это додумываю?..

* * *

Я не перестаю видеть перед собой его лицо, его глаза, когда мы сидим с ним молча, друг перед другом, на репетиции в раскаленной от зноя 98-й аудитории гуманитарного корпуса. Он недоволен собой, он устал ошибаться. Но через секунду он встает и произносит реплику, на которой мы остановились...

ДЯДИК ВАДИК

Когда уходит яркий человек, все вокруг тускнеет, становится плоским, невыразительным. Говоря так, я не прибегаю к ритуальному самоуничтожению в связи с горькой утратой, а просто констатирую факт действительности, который так ценил и так глубоко исследовал сам Вадим.

Своей аурой Кулиничев как бы подсвечивал всех нас, придавал личностный объем, рельеф, натуральность. А сам вроде бы оставался в тени.

бы я безжалостно прервал репетицию, если за версту учую в интонациях его героя уже наработанное им, как говорится, уже «в другом месте». Случалось, я нервничал, а Витя был покладист и ровен. Это нас и выручало. Хотя иной раз хотелось все остановить и молча разойтись без обид и упреков. И только к середине второго месяца репетиций стало вырисовываться нечто вразумительное. И он, и я это поняли, но вслух друг другу ничего не сказали. Нас поджимали сроки сдачи работы, которые, собственно говоря, мы сами себе и обозначили.

* * *

...«Мороз» Витя сыграет только один раз. Большая аудитория так и не увидит спектакля. Мы показали работу своим довольно успешно и думали, что осенью, восстановив накатанное, сыграем спектакль, что называется, для всех желающих. Но осенью мы к «Морозу» не вернемся. А потом сгорят декорации. Уникальные, из алюминиевых трубок, которые

Вспоминаю любимую фразу моего друга: «Александр, не укрупняй меня!» Он говорил мне это, когда я, малость дурачась, нахваливал его за то или иное деяние. Мне кажется, что внутренне Вадим был гордым человеком. Но исключительно свирепо скрывал сие качество. И от мира, и даже от самого себя. И доскрывался до того, что просто привык ставить себя на вторые роли, великодушно уступая первенство некоторым нетерпеливым.

На вторые роли. Всегда и во всем. (Пишу и слышу его голос: «Говори-говори! Когда Смирнов обо мне говорит, всегда узнаю о себе что-то новенькое».) Нет, Вадим, не укрупняю я тебя. Ты и сам по себе был крупным во всех отношениях. Я чувствовал это, я знал это. И очень ценил такое твое самопожертвование настоящего мужика и истинного друга. Недаром мои товарищи по Суворовскому училищу приняли тебя на своем «мальчишнике», посвященном 15-летию выпуска из СВУ, в «почетные кадеты». Это, конечно, игра для взрослых, но она лишь утвердила лучшие твои качества.

Вообще-то, мы с тобой любили поидиотничать. Даже друг друга. Такой театр на двоих. Парой клоунов мы с тобой были, Вадик! Мне все равно, что скажут студентки, прочитав эти строки. У одних людей клоун — это шут и дурак. Я же полагаю, что клоун — это данность. Это мироощущение. Это преодоление тошнотворного пафоса. Это вызов угрюмой повседневности. Это убежище от нищеты и гордыни. Убежище от ненатуральности. Это, наконец, желание быть самому себе адекватным, а именно — желание быть внутренне свободным от пошлых условностей внешнего мира.

Помнишь, как мы с тобой лежали на полу у дверей нашей кафедры на тихой и уютной Пушкинской, 16, уступая друг другу право войти первым? По методу «Чуковский — Райкин». Но великие старики делали это у себя на даче. А мы — на работе, на факультете! С Тamarой Павловной Коноваловой случилась смеховая истерика. Мы ведь и не знали с тобой, что она сидит на кафедре. Была ранняя рань, пустой корпус, полное присутствие отсутствия студентов и коллег. Мы ведь дурака валяли друг перед другом.

Хотя ты мог заговорить вдруг в коридоре с «доверенным» студентом с интонациями Л.И. Брежнева, когда маршал СССР еще находился на престоле. Студент обычно обалдевал от неожиданности и боялся хохотать. Он только потом понимал, что это было не формальное шутовство, не «фига в кармане», а плевочек в физиономию конформизма. Плевоч по ходу, как бы между прочим.

Безусловно, такой подход к жизни не мог не отражаться и на подаче тех наук, которые ты читал. Все мы были в свое время не орлами, все в той или иной мере отдавали дань риторике. Куда денешься от тесной смычки журналистского дела с «царской» идеологией? Но когда цитируемый тобой в лекциях В.И. Ленин ощущался чуть ли не диссидентом по отношению к вялотекущей партийной повседневности — это для ребят в те поры значило многое, если не определяющее. Нынешним «желторотым» этого не понять.

Ты, как никто другой, понимал и жил тем, что университет — не только высшее учебное заведение, где студент получает лишь интеллектуальную профессиональную подготовку, но в значительной мере, но прежде всего — рассадник духа вольнолюбия, свободомыслия, тончайшей культуры. (Лично я тебе такое никогда не говорил, не то бы ты, «закрытый тип», ненавидевший пафос, стал бы надо мной вербально издеваться.) Не в обиду другим скажу, что на таких людей, как ты, и сейчас наш ВГУ скудноват. Помнишь, как ты и твой друг, доцент ПММ Изя Русман собрали нас на заседание некоего сообщества «Ученые ВГУ за перестройку»? Когда это было? До начала второй половины 80-х? И сколько нас было со всех факультетов? 34 человека! И когда по велению истории наша неформальная группа изжила себя, на последнем заседании были те же самые 34 человека. Сейчас, наверное, без тебя и этих не соберешь.



Вадим Кулиничев (справа) и Александр Смирнов

Но гражданская твоя неукротимость, дорогой Вадим, и сейчас вместе с нами. Только вот тебя с нами нет...

«Боже, это что же человеку в жизни надо сделать, чтобы с ним столько народа прощаться пришлось?» — прошептала незнакомая мне женщина из толпы во время прощальной панихиды.

Мой маленький сын Сашка, будучи в гостях у тебя дома, обратился к тебе: «Дядик Вадик!» Так и пошло-поехало. «Дядик» — и все тут. Так и обращались к тебе друзья, товарищи, соседи, коллеги. В этом «дядике Вадике» — ты весь: улыбающийся, гневный, добродушный, раздраженный, уютный, вечно спешащий и опаздывающий, с «тонким нервным лицом».

Я обращаюсь к тебе, Дядик Вадик, где ты? В каких горних высях? В том, что ты ТАМ, у меня нет никаких сомнений, мой дорогой и великодушный друг! Помнишь, как написала Белла Ахмадулина? «...Мои друзья прекрасны. Терять их больно. Бог не приведи!»

Вот что пишу я о тебе, не видя через слезы свои незатейливые строчки...

P.S. Как-то ты мне рассказал, что придумал сюжет, который заключен в одном вопросе: что стало с мальчиком, который первым крикнул: «А король-то голый!» Теперь я понимаю, что тем мальчиком был ты сам. И сам же на этот вопрос ответил.

ОБ АЛЕКСЕЕ ПРАСОЛОВЕ

В первый раз я увидел его, если не ошибаюсь, осенним днем 1969-го, когда вернулся из отпуска в Хохол.

Редакция газеты «За коммунистический труд», где я тогда работал, стояла на отшибе от райцентра. Вылезешь из автобуса «Воронеж — Хохол» во чистом поле и идешь себе в редакцию еще с полверсты.

Так было и в тот день. У хатки редакции стояли двое: ответсек Коля Иванов и ладный крепкий мужичок невысокого роста. Он-то и оказался Алексеем Прасоловым. Коля нас познакомил. Алеша, как выяснилось, успел сбежать на пробную

рыбалку. Недалеко, в карьерных озерцах, наловил довольно крупной плотвы, чему, судя по виду, был необычайно рад.

Что мне запомнилось внешне? Его открытая улыбка. И почему-то костюм. Старенький, в мелкую клетку. Отутюженный, очень аккуратно подштопанный. И Прасолов — энергичный такой мужик, азартно жестикулирующий во время разговора, словно подтверждающий свое слово жестом. Весь в смехе. Круглолицый. Потом, уже позже, разгляжу дюжий лоб козырьком. Так и казалось, когда наклонял свою лобастую голову, будто козырек на глаза надвигает. И, конечно же, неременный его берет.

Я читал стихи Прасолова до того, как нам встретиться. В «Молодом коммунаре», в «Подъеме». Но самого никогда до Хохла не видел.

На первых порах я внутренне очень стеснялся Алексея Тимофеевича. Уже почти все в редакции звали его на «ты» (кроме редактора Вадима Кордова. Редактор со всеми был предельно корректен и всем «выкал»), а же продолжал, по словам Прасолова, «вертеть вола»: «Алексей Тимофеевич, Алексей Тимофеевич». Понять меня можно: он был на целых пятнадцать лет старше. О прочем — умолчу.

Так я и величал его, пока тот мимоходом не бросил, услышав от меня в очередной раз свое имя-отчество: «Да ладно тебе!»

* * *

Долгие годы после его смерти я не мог писать о нем. Сначала все было так близко, вчера...

Потом боялся, что начну присочинять, ударюсь в «беллетристику». Нынче же такое ощущение пришло, что и не выразишь словами. Одно только могу сказать, что не беллетризую. Разговоры с ним — в ушах. Вспоминаю о нем таком, каким остался он в моей памяти.

* * *

Свои стихи и прозу Алексей читал многим в редакции. Практически всем. Никого не выделял и не обделял. Но не делал этого при стечении народа. А только индивидуально.

Читал он мне как-то вслух начало повести о детстве «Жестокие глаголы». Это был превосходно написанный кусок. Но, помню, на фоне его удивительно поэтического языка вдруг резанула ухо какая-то случайная газетно выписанная деталь. Я осмелился сказать Алексею об этом. Он перечитал еще раз вслух это место. Потом перечитал в третий раз:

— Торчит?

— Торчит, ей-богу!

— Ладно, подумаю...

Спустя неделю-две сказал мне задумчиво:

— Ты прав.

Я за суетой уже и позабыл, о чем идет речь:

— Ты про что, Тимофеевич?

— Переписал я тот абзац про рисунок мальчика на стене хаты. Не знаю, может быть, вообще его выброшу.

Еще через какое-то время напомнил:

— Я это место убрал.

Работал он по-настоящему и приблизительности не терпел на йоту. Тем более, когда речь шла не о редакционной рутинной писанине.

Дружил ли он со мной? Думаю, нет. Просто мы трудились рядом. Большой русский поэт с тяжелой судьбой и почти мальчик, свежееиспеченный выпускник филологического факультета университета. Но этот юноша знал, с кем довелось ему вместе работать.

Я профилонил редакционный субботник. Смотался в большой город на выходные. Редактору же клятвенно пообещал отработать «свою долю» в свободное от работы время. С тем и уехал.

«Доля» оказалась такая — приблизительно десять метров штакетного забора вокруг редакции. Плюс посадка дерева.

Дерево я посадил в понедельник после рабочего дня. Со штакетником получилось хуже. Стал прибывать жердочки на глаз, и такая «волна» пошла, такой «девятый вал» покатился, что еще не ушедшие после службы коллеги за бока хватались от смеха, глядя из редакционных окон на мои потуги.

Я злился, а редакционный домик, составленный когда-то из двух щитовых, разве что не трясся от их утробного смеха.

Первым не выдержал моего дикого надругательства над плотницким искусством Алексей Тимофеевич. Вышел ко мне с хмурым лицом. (На меня ребята обиделись за «смыв» с субботника. И Прасолов, разумеется.)

— Сходи в типографию за шнуром. Надо же по уму делать, а не задницей. Иди, пока я твои «художества» отбивать буду. Дай только молоток и топор!

Сложил я «оружие» перед ним и поплелся за веревкой в типографию, благо, та была в двух шагах. Вернулся быстро. Рядом с Алешей уже всюду трудилась его молодая жена Раечка Андреева. Алексей по-прежнему был мрачен. Рая же без смеха не могла смотреть ни на штакетник, ни на меня. Я не выдержал и тоже начал хохотать.

Алексей было махнул рукой сердито и досадливо, но улыбка и его поборол.

Отсмеявшись до слез, мы начали орудовать. Алексей — на основных работах, мы со славной Раей на вспомогательных. Полезли из редакции «добровольцы», но, кроме моего закадычного друга Алеши Тишанинова, прочие были отвергнуты.

Наверное, Алексею Тимофеевичу стало жалко меня, когда я один, стуча себе по пальцам, вкривь и вкось строил эту «демаркационную линию». Хохочущих надо мной оказалось и без него достаточно. Вот он и вышел на подмогу, добрый человек.

А потом, почти в сумерках, с примкнувшим Тишаниновым пошли мы вместе к Прасоловым на их съемную квартирку в гости. Есть жареную картошку. Это были первые опыты Раисы как молодой хозяйки в области кулинарии.

Картошка Рае удалась. Но больше всех этому радовался Алексей Тимофеевич, то и дело спрашивавший едоков:

— Ну, как картошечка по качеству?

— Лучше моего штакетника, — честно признался я.

И все мы дружно засмеялись.

Вообще Тимофеевич посмеяться любил. И улыбка ему необычайно шла. На фотографиях в сборниках стихов он был серьезен. А в жизни я больше запомнил его улыбающимся и смеющимся.

Через несколько лет после того «субботника» я наведалься в Хохол из Воронежа в командировку. Старая редакция еще стояла на прежнем месте. Стоял и штакетник, посеревший от времени. И большой уже тополь трепетал от степного ветерка. Только Прасолова не было в живых.

Ах, Алексей Тимофеевич!..



Алексей Прасолов и Раиса Андреева-Прасолова. Р.п. Хохольский. 1970 г.

* * *

С посвящением стихотворения «В эту ночь с холмов...» вышла вот такая история.

Шли мы как-то с ним по весне вдвоем из столовой кирпичного завода, куда навдывались почти аккуратно во время обеденных перерывов. Шли, по обыкновению ругая тамошнюю еду: вечно подгоревший гороховый суп с перьями ржавого жареного лука. Это было наше послеобеденное «меню» разговоров.

Наконец мы подошли к узкоколейке. Там, уже за ней, шла в любое время года сухая песчаная почва. Стали ритуально очищать о рельсы подошвы от налипшего густого чернозема. Чтобы не тащить с собой лишнего.

И тут Алексей как-то безо всякого повода сказал, что буквально вчера написал стихи. И прочитал их. Первое я, к стыду своему, не запомнил, а от второго — «В эту ночь...» — прямо завопил от восторга. И махом перепрыгнул через рельсы. Прасолов заулыбался от подобной реакции. И вдруг спросил:

— Хочешь, посвящение тебе дам?

Я опешил.

— А ты мне отдай в вечное пользование ту пародию, что написал, — продолжил Алексей Тимофеевич.

Пародия, надо сказать, была не столь мастеровита, сколько ехидна. Из тех, что пишутся молодым умом «ради красного словца». Написана она была для нашей внутриредакционной стенновки «левой пяткой». Сюжет — загул Алексея с одним нашим корреспондентом. Я тогда и представить себе не мог по возрастной глупости, сколь серьезна была эта болезнь Алексея Тимофеевича. Ответсек Коля Иванов, фотокор Алеша Тишанинов выслушали пародию хохоча. Естественно, что читалась она при Прасолове.

Тимофеевич вроде улыбался себе под нос, слушая ее и подергивая плечом. Но я тут же уразумел, что он обиделся. Когда мы остались наедине в нашей рабочей комнатке, спросил его:

— Ты обиделся?

— Ерунда, с чего ты взял?

— Тогда я эту пародию похерю! — решительно сказал я и нарочито небрежно засунул листок с текстом в стол...

С тех пор, как была написана эта ерунда, наверное, прошел месяц. Но, оказывается, Алексей нес в себе обиду. А вот только нынче проговорился. Но на такой его обмен пародии на посвящение надулся и я. Говорю ему по ходу возвращения в редакцию:

— Не надо никаких посвящений! Я тебе свою фиговину и так отдам.

С десяток метров мы прошли молча. А стихи мне действительно очень понравились. И я машинально вслух повторил их последние строки:

Там сквозь муку тихо светит праздник,
Слава Богу, неподвластный нам.

— Честно понравились? — спросил Прасолов с хмурой улыбкой.

— Да! — выдохнул я.

— И хорошо! Быть по сему. А про пародию я так...

Пришли в редакцию. Я вытащил свои «сатиры» из ящика и протянул Алексею Тимофеевичу. Но тот держал марку:

— Оставь. Пусть себе лежит.

Не без юношеской демонстративности я порвал листы с пародией в клочья и бросил в мусорное ведро. (У каждого в редакции было персональное мусорное ведро из пластика.)

Алексей засмеялся от души. Все-таки был доволен моему мальчишескому жесту.

Потом стихи напечатали в «Подъёме». Без посвящения. Прасолов извинился, сказал, что у него в подборке при печати убрали все посвящения: редактору не понравилось. Заклеймил редактора. А в очередной его сборник стихотворение вошло с дарственными инициалами.

Алеша потом шутил: «У Твардовского посвящение звучит благозвучней — А.Т.Т. Над твоим я голову ломал. А.Т.С.? Автоматно-телефонной станции? Ладно, поставил А.С.»

Мы оба заулыбались.

Увы, в сборнике редактриса выкинула «слава Богу» из текста. Напечатали «в этот час там тихо светит праздник, / неподвластный нам». И это про стихию ледохода!

...А стихи в тот памятный день прогулки с Алексеем просто легли на природу: весенняя незамутненная синь, солнце еще падающее. И его замечательную и мучительную жизнь, и мою обыкновенную.